

DOI: 10.19195/0137-1150.167.40

МАША POLEKHINA

МГИМО МИД России (Одинцовский филиал), Roşja

Репрезентация страха смерти в произведениях современной русской литературы о войне

В последние годы возрастает интерес к исследованию концепта „смерть” в современной академической науке. Культурно-исторический, герменевтический, системно-структурный, теософский, психоаналитический аспекты данного феномена стали предметом исследования в работах в работах Филиппа Арьеса, Татьяны Бычковой, Владимира Варавы, Анны Гоголевой, Романа Красильникова, Александра Иванюшкина и Константина Ляха, Татьяны Мордовцевой, Фердинанда Харт Ниббрига Кристиана Л., Василия Налимова, Екатерины Осатюк, Бориса Полосухина, Вадима Розина, Валентины Тарасенко¹ Концепт „смерть” исследуется с позиции частных манифестаций

¹ Ф. Арьес, *Человек перед лицом смерти*, Москва 1992; Т. Бычкова, *Концепт „Жизнь-смерть” в диалекте Михаила Зощенко*, Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук, Казань 2004; В. Варавя, *Этика неприятия смерти*, Воронеж 2005; А. Гоголева, *Феномен смерти в культурах разного типа: Социально-философский анализ*, Диссертация на соискание ученой степени кандидата философских наук, Москва 2005; Р. Красильников, *Образ смерти в литературном произведении: модели и уровни анализа*, Вологда 2007; Р. Красильников, *Танатологические мотивы в художественном творчестве: эстетический аспект*, Москва-Вологда 2010; А. Иванюшкин, К. Лях, *Тема смерти в истории философии*, „Вестник МГТУ” 2011, т. 14, № 2, с. 402–409; Т. Мордовцева, *Идея смерти в культурфилософской ретроспективе*, Таганрог 2002; К. Л. Харт Ниббриг, *Эстетика смерти*, пер. с нем. А. Белобратова, Санкт-Петербург 2005; В. Налимов, *Спонтанность сознания: Вероятностная теория смыслов и смысловая архитектура личности*, Москва 1989; Е. Осатюк, *Когнитивные модели метафор „болезнь” и „смерть” как отражение авторского мировидения*, Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук, Ставрополь 2007; Б. Полосухин, *Феномен вечного бытия*, Москва 1993; В. Розин, *Размышления о смерти и бессмертии на рубеже третьего тысячелетия: (беседа первая)*, „Научно-теоретический журнал” Философские науки 2004, № 7, с. 132–151; В. Тарасенко, *Концепты „жизнь” и „смерть” в системе языка и сознании разноязычных носите-*

в определенных знаковых системах. Уникальность его обусловлена тем, что он аккумулирует в себе не только глубинные и ментальные ассоциации, зафиксированные в языке, но и представления, формирующиеся в рефлексии человека „здесь” и „сейчас”². В связи с репрезентацией феномена смерти в произведениях русской литературы о войне возникает вопрос о проблеме художественного осмысления героического и трагического, о поэтизации поступков людей перед неизбежностью смерти, об их „способности к величественным свершениям, об их готовности преодолеть инстинкт самосохранения, пойти на риск, лишения, опасности, достойно встретить смерть”³.

Психологические зарисовки участников военных событий, художественно-философское осмысление экзистенциальных проблем — человек в абсурдных обстоятельствах жизни, личность перед лицом „не-бытия” — актуальные вопросы, художественно исследованные уже в произведениях Жизнь и судьба (1959) Василия Гроссмана, У войны не женское лицо (1983) Светланы Алексиевич, 160 страниц солдатского дневника (1985) Мансура Абдулина, Дожить до рассвета (1972) Василя Быкова, А зори здесь тихие... (1969) Бориса Васильева и др., книгах, во многом определивших пацифистский пафос и гуманистическую направленность современной прозы о войне. Мы остановимся лишь на некоторых произведениях современных авторов, обратившихся к военной теме.

Полифония мироощущений, чувствований, эмпатий и антипатий организует целостную структуру книг Даниила Гранина (*Мой лейтенант*, 2011) и Виктора Астафьева (*Прокляты и убиты*, 1994), где каждый эпизод, каждая сцена — вспышка, высвечивающая в повседневном главное, сокровенное и трагическое, и это всегда потрясение, прозрение и опыт для героев произведений. Исповедальные книги писателей — это взгляд на войну с позиции человека, прошедшего через смерть, страх смерти, гибель и возрождение и в конечном счете навсегда оставшегося на той войне, в том пространственно-временном континууме, когда каждый был убит и раздавлен происходящим еще задолго до наступления собственной гибели. Проблема авторской позиции через риторику главного героя повествования, его оценочно-идеологических заключений, публицистических отступлений, обобщений и сентенций задается важнейшими вопросами общечеловеческой значимости. Что такое жизнь человека на войне? Что есть смерть на войне? Как противостоять грандиозной и чудовищной машине уничтожения? Как остаться человеком в тот последний миг, когда границы между

лей: на материале фразеологизмов, Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук, Комсомольск-на-Амуре 2008; В. Тарасенко, *Фразеологические репрезентации концептов „жизнь” и „смерть” в системе языка и их восприятие русскоязычными носителями*, „Филология и человек”, вып. 2008, с. 115–123.

² М. С. Степанов, *Семиотика смерти в дискурсе деятельности*, „Вестник Южно-Уральского государственного университета” 2010, № 1, с. 19.

³ В. Е. Хализев, *Теория литературы*, Москва 2005, с. 76.

здесь и там стираются, когда впереди — ничто, гибель, смерть, которая есть часть этого мира и одновременно отсутствие этого мира как такового? Как противостоять *страху смерти*, когда невыносимо больно осознавать его всепоглощающую силу и нарастающее всевластие?

Легко понять логику происходящего, если твой новый жизненный опыт на войне находится в равновесии с нравственно-этическими ценностями добра и справедливости, сформированными изначально. Когда вовлечение в агонию военных событий воспринимается как приобщение к ратным подвигам прежних веков, проходит через „узнавание и открытие героических периодов истории, воскрешение культурной традиции и отождествление себя с доблестными подвигами предков”⁴. В данном случае речь идет об определенном уровне национального самосознания личности в тяжелейший и ответственный момент истории страны. Литературовед Лариса Ивановна Щелокова, обращаясь к публицистике периода Великой Отечественной войны, цитирует статью Павла Антокольского *Сим победиши* (1945), в которой повествуется о бессмертии народа, чья история вместила „память и надежду, любовь к родной земле и самосознание отдельного человека”⁵. Гибель за Отечество в бою с врагом становится составляющей понятия подвига человека на войне, и каждый солдат готов совершить этот подвиг, во имя торжества добра и справедливости, тем самым обретая бессмертие в памяти своего народа.

Однако произведения Астафьева и Гранина представляют нам иную правду о войне, в иных ракурсах повествования, где человек ощущает себя винтиком в чудовищном механизме иррационального зла. Воссоздается телесный мир войны, мир страдающего, гибнущего, изувеченного народного тела.

Астафьевская телесность образно воплощает особое эпическое единство, единство внеличностное, возникающее на родовой, даже биологической основе — на крови, не только текущей в жилах, но и вытекающей из жил. Это архаическое единство, рождающееся в биологической борьбе за выживание⁶.

Лейтмотивом произведений Виктора Астафьева, таким образом, становятся страшные груды мертвых тел, заполнившие великую реку жизни, реку бытия. „В реке густо плавали начавшие раскисать трупы с выклеванными глазами, с пенящимися, будто намыленными лицами, разорванные,

⁴ Л. И. Щелокова, *Истоки героического характера (на материале газетных публикаций 1941–1946 гг. Василия Гроссмана)*, [в:] *Grossman Studies. The Legacy of a Contemporary Classic*, ред. М. Calusio, А. Krasnikova, P. Tosco, Milan 2016, с. 302.

⁵ П. Г. Антокольский, *Сим победиши*, [в:] его же, *Испытание временем: статьи*, Москва 1945, с. 20.

⁶ М. Н. Липовецкий, *Военная проза 90-х годов: тупики поэтики или кризис идеологии*, [в:] его же, *Война и литература: 1941–1945*, Екатеринбург 2000, с. 51.

разбитые снарядами, минами, изрешеченные пулями”⁷. Пристальное внимание Астафьев уделяет натуралистическим деталям, до предела сгущая эмоционально-выразительные картины осмического пейзажа, пронизанного „приторно-сладким духом жареного человеческого мяса” [с. 394].

Старые и молодые, сознательные и несознательные, добровольцы и военкоматом мобилизованные, штрафники и гвардейцы, русские и нерусские — все они кричали одни и те же слова: „Мама! Божечка! Боже!” и „Караул!”, „Помогите!...”. А пулеметы секли их и секли, поливали разноцветными смертельными струйками. Хватаясь друг за друга, раненные и нетронутые пулями люди связками уходили под воду, река бугрилась, пузырясь, содрогалась от человеческих судорог, пенилась красными бурунами [с. 396].

Присутствие смерти пронизывает жизнь героев Гранина: уже с первых страниц описания картины боя, авиационных обстрелов, которые в различных вариациях много раз повторяются в произведении, автор показывает маленького человека перед лицом большой опасности, перед лицом железного „зверя”, пытающегося уничтожить все живое. Впервые герои обретают опыт *страха смерти* под первой бомбежкой, чувствуя этот страх в себе и униженность этим новым открытием себя. Страх был настоящим, жгучим, подлым, постыдным и всеильным. Он унижал, парализовывал сознание, превращал человека в „дрожащую слизь, ничтожную, наполненную ужасом тварь”⁸. Сцена обстрела в произведении Гранина почти дословно повторяет сцены, воссозданные Мансуром Абдулиным в книге *160 страниц из солдатского дневника* (1985):

горячий воздух пропеллеров шевелил мои волосы. Самолеты выли, бомбы, падая, завывали еще истошнее. Их вопль ввинчивался в мозг, проникал в грудь, в живот, разворачивал внутренности. Злобный крик летящих бомб заполнял все пространства, не оставляя места воплю. Вой не прерывался, он вытягивал из меня все чувства, ни о чем нельзя было думать. Ужас поглотил меня целиком. Гром разрыва звучал облегчающе. Я вжимался в землю, чтобы осколки просвистели выше. Усвоил это страхом. Когда просвистит — есть секундная передышка. Чтобы оттереть липкий пот, особый, мерзкий, вонючий пот страха, чтобы голову приподнять к небу [с. 7–8].

Страх смерти, приближающейся бездны „не-бытия”, ощущение раздавленности, покинутости и предельного одиночества были предощущением чудовищных страданий и экзистенциального страха *исчезновения* из этого мира. „Я был раздавлен страхом. Сколько во мне было этого страха! Бомбежка извлекала все новые и новые волны страха, подлого, постыдного, всеильного, я не мог унять его” [с. 9]. В этот миг между двумя безднами, землей, в которую герой старался „вжаться”, чтобы осколки просвистели выше, и небом, которое на какой-то миг предало его, он обращается к Богу, в существование которого никогда не верил всей своей предыдущей жизнью... Но здесь, в бою, когда он

⁷ В. П. Астафьев, *Прокляты и убиты*, Роман, Москва 2002, с. 396. Далее цитаты приводятся по этому изданию с указанием страницы в скобках.

⁸ Д. А. Гранин, *Мой лейтенант*, Москва 2013, с. 9. Далее цитаты приводятся по этому изданию с указанием страницы в скобках.

остался один на один с этой летящей к нему со всех сторон смертью, его заперкшиеся губы шептали: „Господи, помилуй! Спаси меня и не дай погибнуть, прошу тебя, чтобы мимо, чтобы не попала, Господи, помилуй!” [с. 8].

Человек, раздавленный страхом приближающейся гибели, испытывает колоссальное эмоциональное напряжение, которое предшествует внутреннему перерождению, обретению нового взгляда на привычные вещи. И чем ярче и значительнее выражена в человеке индивидуальность, тем сильнее он испытывает эмоциональный шок от неотвратимости катастрофы.

Никакая фантазия, никакая книга, никакая кинолента, никакое полотно не передадут того ужаса, какой испытывают брошенные в реку, под огонь, в смерч, в дым, в смрад, в губительное безумие, по сравнению с которым библейская геенна огненная выглядит детской сказкой со сказочной жутью, от которой можно закрыться тулупом, залезть за печную трубу, зажмуриться, зажать уши.

Боженька, милый, за что, почему ты выбрал этих людей и бросил их сюда, в огненно кипящее земное пекло, ими же сотворенное? Зачем Ты отворотил от них Лик Свой и оставил Сатане на растерзание? [с. 396–397].

Воине и смерти противостоит в книге Гранина жизнь природы, ее естественность и красота:

...я смотрел на зеленые стебли, где между травинками полз рыжий муравей, толстая бледная гусеница свешивалась с ветки. В траве шла обыкновенная летняя жизнь, медленная, прекрасная, разумная. Бог не мог находиться в небе, заполненном ненавистью и смертью. Бог был здесь, среди цветов, личинок, букашек... [с. 9].

Мир природы оставался нетронутым, неподвластным трагическому противостоянию людей, взглядов, систем. И страшно было то, что *он* был здесь, в этом пространстве и времени, а там — *его* не было, там *его* не могло быть, и страх от этого приближающегося *ничто, богооставленности* в этом новом мире *не-бытия* был еще более ужасен в своих проявлениях. Особенно невыносимо все это осознавать, когда тебе двадцать лет, и ты еще не жил и ничего в этой жизни не видел, и все твои надежды связаны с завтрашним днем, а это завтра никогда не наступит, и ты каждый день умираешь с каждой смертью своего товарища, и жизнь твоя, подобно шагреновой коже, сжимается и обесмысливается.

Смерть в романе Даниила Гранина — привычное повседневное явление, ее запах поглощал все остальные запахи, пронизывая все живое, подчеркивая тем самым свое повседневное доминирующее положение. Жизнь удивительная в своих проявлениях, казалась почти случайностью. Война стала запахом страха навсегда потерять связь с этим миром. Человек постоянно ощущал неизбежность, неотвратимость конца. Страх не-бытия заключался в остром осознании человеком собственной конечности. Конец, как предел всего сущего, отражал весь ужас происходящего: впереди — пустота. Не-бытие угрожает целостности человека, его естественному присутствию в материальном мире, его личностному самоутверждению. Но у не-бытия

есть будущее в другой реальности, и об этом будущем в универсуме просят погибающие у Бога: солдаты молились зачастую даже не зная молитв, обращаясь к единственному и единосущностному. „В окопах атеисты не водятся” [с. 80], — утверждал Гранин устами своего героя Жени Левашова. Все становились верующими, все просили у Бога спасения и сохранения. И отмоленная еще на один день жизнь казалась почти чудом, подарком.

Страх личный противопоставляется Граниным страху коллективному, такой страх рождает панику, парализует мысль, влечет за собой апокалиптические явления. „Во время боя, когда нервы так напряжены, одного крика, одного труса хватало, чтобы вызывать всеобщую панику” [с. 12]. Но потом с обретением военных навыков и этот страх пропадал. Что могло противостоять страху в экстремальных ситуациях? „Страху противопоказан, как ни странно, смех. В страхе не смеются. А если смеются, то страх проходит, он не выносит смеха, смех убивает его, отвергает, сводит на нет, во всяком случае изгоняет хоть на какое-то время” [с. 12]. Гранин вспоминает рассказанную Михаилом Зощенко незадолго до его смерти историю о немецком солдате, который неожиданно для себя во время обстрела скатился в кювет к русским. Он очень испугался, увидев красные звездочки на пилотках солдат, заметался, закричал от страха, гигантским, почти рекордным прыжком быстро выскочил из кювета и побежал к своим. Наблюдая за молоденьким солдатом, смеялись и русские, и немцы. Гранин замечает, что после этого стрелять было невозможно. Смех соединил противников каким-то неведомым им всем общим чувством, он возвратил человека к самому себе, себе прежнему, вернув ему исконно человеческие качества.

Когда-то в школе героя Гранина спросили о том, почему для Льва Толстого так важно было показать не победу Кутузова над Наполеоном, не взятие Парижа, а историю поражения русских под Москвой, историю отступлений, пожар Москвы. Тогда советскими школьниками многое воспринималось иначе, сейчас же очевидно, что через отступления, поражения, позор, упадок воли и разочарования Толстому нужно было показать „сокровища духа народа”, „резервы сознания и любви к родине” [с. 27].

Преодоление экзистенциального ужаса смерти Гранин показывает постоянной включенностью человека в судьбу погибающего на этой войне. Смерти придавался особый статус, статус события индивидуальной жизни. Гранин с особой тщательностью высвечивает фигуры своих персонажей. Героическое поведение Подрезова, встретившего смерть как вызов, оценивается с точки зрения его прежней жизни: до войны он был осужден, отношение к нему военачальников было соответствующее. После очередного смертоносного обстрела тело Подрезова не нашли, чтобы предать захоронению, у командиров появились сомнения: он мог перейти к немцам. Для нашего же лейтенанта позиция Подрезова была совершенно очевидна: самоотверженно во весь рост он стоял в окопе, стрелял и неистово ругался. „...ему обрыдла такая война, бегство, постыдная война” [с. 45], героически

он защищал свою позицию, пытаясь остановить отступающих русских солдат, выполняя приказ „ни шагу назад”.

Лейтенанту вспоминается сцена расстрела ополченцев: „Председатель трибунала встал и прочитал приговор: «Одного расстрелять за самострел, второго — за трусость, бегство с поля боя и паникерство, третьего — за намерение перейти к немцам»” [с. 122]. Трупы долго не убирали. Эта сцена почти обыденная, она не вызывала у солдат особых эмоций. Более того, в самой реакции на происходящее было много горькой иронии: „Оформляют. Под копирку, иначе на тот свет не примут, там требуют два экземпляра” [с. 123].

В противостоянии смерти и страху смерти перерождался солдат на войне, обретая новый статус, перерастая самого себя через преодоление в себе маленького, ничего не значащего человека, обретая уверенность в своих силах и чувство достоинства. Так продвигались герои романа к пониманию происходящего: страх исчезал в осознании своей силы и опасности для противника. Ненависть рождала ответную ненависть, адекватную реакцию на происходящее. Так к герою Гранина приходит понимание того, что война — это необходимость убивать; убийство в упор, со спины, было первым для героя убийством противника, немецкие солдаты не успели понять, что произошло, а далее следовало бегство: героя выворачивало наизнанку, трясло, бросало в пот и снова выворачивало. Убийство двух немцев в галифе долго будет преследовать его в снах и воспоминаниях, и всегда эта сцена неизменно сопровождается другой: „Белая церковь под синим, свистящим от пуль небом” [с. 45]. И с каждым новым пробуждением образ этот обрастал новыми подробностями. В конечном итоге образ русского храма обретает апокалиптический характер: снаряд бьет в колокольню белой церкви, и она, окутанная кирпичной пылью, надламывается. Так разламывался мир в сознании героя, нивелировались прежние ценности. Человек, взявший на себя право убить другого человека, завершить жизнь другого, открыв для него путь в пустоту, прерывает смысл самой жизни, открывает и для себя рубеж, после которого он никогда не будет прежним, так как перечеркивается собственный смысл бытия. В очередной раз автор говорит о бессмысленности любого притязания на человеческую жизнь: война — отрицание жизни как таковой, игнорирование самого факта жизни, войне безразлично, русский ты или немец, праведный или падший.

Трагическая гибель Жени Левашова воспринимается как отдаление жизни, ее обеднение, оскудение: была одна огромная секунда, когда пуля достигла его, неунывающего балагура, „необычайно рослого гвардейца”, „любимца Фортуны”: „Не смерть пришла, а удалась жизнь, унесла Женю Левашова, весь его мир, единственный, небывалый, все его рассказы-небывалки. Остался этот предмет, что остывал у меня на руках” [с. 182].

Показательно, что с каждой гибелью товарищей истекала, истончалась и уничтожалась собственная жизнь героя, настоящее обесмысливалось постоянной готовностью к встрече с *ничто*, сулящем конец, пустоту, мрак

и не-бытие. Что могло противостоять смерти, ее неотвратимости? Писатель не раз задавал себе вопрос: почему он выжил, и не находил никакого другого ответа, кроме единственного: потому что его любили, вероятно, потому что и сам он любил, и на войне по мере возможности старался не нарушать этого важнейшего закона: „не убий”.

Гранин пересматривает сложившуюся традицию в истолковании войны, подвергая глубокому сомнению триумфальный характер победы.

Мы встретили войну безоружными не только в смысле оружия, мы морально были безоружны, — вспоминает герой свои первые дни на войне. Очень сложно было перешагнуть через себя, свои представления и убеждения, чтобы стрелять в людей, с именами которых были связаны фигуры Карла Либкнехта, Розы Люксембург, Эрнста Тельмана. Но у этих людей, пришедших на родную землю, была другая правда, другие представления о России, о недочеловеках, низшей расе, которую надо уничтожать, и они вешали, убивали, сжигали деревню за деревней⁹.

Мужество и преодоление страха смерти рождались в противостоянии всем ужасам и горечи войны. Виктор Астафьев утверждает, что мы победили, потому что завалили немцев своими трупами и залили их своей кровью. Гранин проводит своего героя по блокадным улицам Ленинграда, „города мучеников”, так называл его Дмитрий Лихачев, переживший в Ленинграде самые трудные военные месяцы. Блокадная драма складывалась, согласно его мнению, из героизма, подвижничества и мученичества. Смерть в блокадном Ленинграде, представляющая обыденное явление, показывала иллюзорность жизни и ничтожность, бессмысленность каких бы то ни было желаний. Человек открывался в своей уязвимости, хрупкости, несовершенстве, физически и нравственно униженный, он имел ничтожный шанс не расчеловечиться. Гранин рисует страшные картины голода: мужчина с мутными неподвижными, ничего не видящими глазами жует перчатку, черные кожаные пальцы торчат у него из рта... Прохожие воспринимаются как „мясо, скелеты, на которых еще было мясо”. „Были дни, когда я понимал людоедство” [с. 198], — признавался герой.

Астафьев в свое время говорил о том, что всей правды о войне никто не знает, до сих пор многие документы так и не опубликованы. В 2011 году в Москве в Доме-музее Марины Цветаевой в рамках IV Культурологических чтений состоялась научная конференция, посвященная актуальным вопросам Второй мировой войны. В 2013 году был опубликован сборник материалов *Русское Зарубежье и Вторая мировая война*, в котором нашли место архивные документы из частных коллекций участников военных действий, не опубликованные ранее письма представителей русской диаспоры, а также новые исследования предвоенных событий, анализ историко-политических

⁹ Д. Гранин, *Настоящая война не могла начаться, пока мы не возненавидели понастоящему*, <https://regnum.ru/news/1510819.html> [дата обращения: 21.10.2017].

и философских аспектов той войны¹⁰. По убеждению Астафьева, для каждого пришедшего с этой войны потребовалось невероятных усилий, чтобы жить и остаться самим собой, и на это затрачено было гораздо больше мужества, нежели в ходе самой войны. Субстанциальный конфликт вскрывает таким образом в книгах писателей о войне глубинное противостояние личности и государства. Война сделала солдат, вернувшихся с фронта, потерянными для повседневной жизни; для них раздвинулись границы допустимого: смерть стала частью их жизни, заняв доминирующее положение. Субстанциональный конфликт героя с миром в *Пастухе и пастушке* (1971) Астафьева становится причиной гибели главного героя Бориса Костяева. Он истрачивается от постоянного лицезрения крови, смерти, разрушения и хаоса, которые царят повсеместно. У героя иссякают жизненные силы, он угасает, почти не ведая того. В гибели Мохнакова, который положил в заплечный мешок противотанковую мину и бросился с нею под танк, Астафьев видит не только акт героического самопожертвования, но и отчаянный акт самоубийства. Мохнаков обдуманно идет на смерть, потому что не в силах жить со своей испепеленной, ожесточившейся на войне душой. Трагична судьба героев рассказа *Пролетный гусь* (2001). Несвободный человек в несвободной стране лишен выбора и гибель его прогнозируема не одними, так другими обстоятельствами. И часто в большей степени правыми оказываются те, кого уже нет рядом, кто навсегда исчез из списка живых.

Гранин, как и Астафьев, затрагивает очень важную тему, касающуюся поствоенного синдрома. Человек, переступая через жизнь другого, нарушая важнейшие общечеловеческие принципы, в послевоенной жизни уже не может оставаться прежним, происходит слом ценностей. Человек, переживший чудовищные испытания передовой, оказывается потеряннным в мирной ситуации, он не может „нащупать” себя прежнего, у него возникает чувство вины перед убиенными, погибшими друзьями, за которых он поневоле должен проживать эту жизнь. Заповедь „не убий” имеет абсолютный характер, сложно согласиться с допустимостью обратного действия, даже понимая психологический механизм оправдания греха, насилия, чтобы предотвратить еще большее насилие. Хорошо известно, что критерии „справедливой войны”, сформулированные в средние века, свидетельствовали о том, что предполагаемое бремя войны должно быть адекватным целям войны, то есть жертвы и разрушения, которые причиняет война, должны быть меньше тех, которые она предотвращает. Оправданность военных действий определяет не Кесарь, как таковой, а соотношение нанесенного/предотвращенного вреда. Заповедь „любите врагов ваших” и правила войны — вещи несовместимые. Война в произведениях современных писателей представ-

¹⁰ Н. А. Ефимова, *Изображение Второй мировой войны в трилогии Василия Аксенова „Московская сага”*, [в:] *Русское зарубежье и Вторая мировая война. IV Культурологические чтения „Русская эмиграция XX века”*, отв. ред. И. Ю. Белякова, Москва 2013, с. 290–302.

лена величайшим злом, она противостоит красоте мира и разрушает эту красоту, она противостоит здравому смыслу любви и всепрощения и губит человеческую душу, нанося ей невосполнимый ущерб, и любые попытки оправдать благую цель кровавыми средствами обречены на провал.

Современные писатели, обращаясь к военной теме, остаются верны толстовской концепции войны как событию „противному человеческому разуму и всей человеческой природе”¹¹. Глубокая убежденность Л. Толстого в том, что и французы, и русские — это прежде всего люди, „дети человечества, что они братья”, определяла и гуманистические позиции Гранина и Астафьева. И немцы, и русские оказались жертвами диктаторского режима, героическая победа русского народа в Великой Отечественной войне стала возможной благодаря мужеству, героизму и патриотизму русского солдата, преодолевшего страх перед смертью, перед стремлением подавить, уничтожить человека в человеке.

Лучшие произведения современных писателей о войне направлены на разрушение мифа о ее оправданности — справедливой, освободительной, какой бы то ни было, война — это всегда зло, противоречащее самому божественному замыслу о человеке и мире. Бессмысленности, бесчеловечности, противоестественности войны Гранин противопоставляет картины незыблемости мироздания: так приходит понимание того, что война — временное явление, а небо над головой, земля, звезды, сотворенные Богом, весна и любовь — вечны. Преодоление *страха смерти* сопряжено с осознанием бесконечности мира и человека, верой в творение мира, вечную жизнь, любовь и беспредельную милость Бога. Незадолго до своей гибели герой Гранина Медведев открывает перед лейтенантом самое сокровенное:

Я не прошу, я благодарю Господа, — он чуть улыбнулся, — за то, что он вдохнул жизнь в меня, дал полюбоваться на свое творение. Конечно, за любовь. Я не выпрашиваю „Дай еще побыть здесь”, а „Спасибо тебе за то, что ты соблаговолил пригласить меня на этот праздник...” [с. 175].

Подводя итоги сказанному, следует отметить, что современная русская проза о войне представляет новое видение проблемы, связанной с изменением мироощущения человека, прошедшего через войну. Смерть, которая всегда рядом, меняет представление героев о мире, показывает хрупкость человеческой жизни, заставляет по-особенному ощущать каждое ее мгновение и одновременно обесценивает жизнь как акт существования. Ощущение страха смерти на войне обретает всепоглощающий характер, поэтому так остро встает вопрос о поведении человека перед лицом смерти. Страх смерти художественно исследуется писателями как состояние, в котором человек осознает возможность своего *не-бытия*, как нечто поглощающее и развоплощающее человека в человеке. Страх *не-бытия* порождается не

¹¹ Л. Н. Толстой, *Война и мир*, [в:] его же, *Собрание сочинений в 20 томах*, т. VI, Москва 1962, с. 7.

мыслью о том, что все имеет переходящий характер, а осознанием неизбежности собственной гибели, это переживаемая человеком его собственная конечность. Каждый факт столкновения человека со смертью порождает разные реакции, но страх *не-бытия*, его мера или его отсутствие являются маркерами человеческой индивидуальности. Посягательство на жизнь другого, когда человек выступает в роли вершителя чужой судьбы, является рубежом, точкой невозвращения к себе прежнему. Познавшие страх *не-бытия*, переступившие грань между жизнью и смертью, не могут вернуться в свой прежний мир, остаются чужими в нем, вечными странниками другой реальности. Любая романтизация войны и героического подвига человека на войне преступны, потому что в жертву приносятся самое ценное и дорогое — человеческая жизнь и будущее поколений.

Библиография

- Антокольский П. Г., *Сим победиши*, [в:] его же, *Испытание временем: статьи*, Москва 1945.
- Арьес Ф., *Человек перед лицом смерти*, Москва 1992.
- Астафьев В. П., *Прокляты и убиты*, Роман, Москва 2002.
- Бычкова Т., *Концепт „Жизнь–смерть” в идиолекте Михаила Зощенко*, Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук, Казань 2004.
- Варава В., *Этика неприятия смерти*, Воронеж 2005.
- Гоголева А., *Феномен смерти в культурах разного типа: Социально-философский анализ*, Диссертация на соискание ученой степени кандидата философских наук, Москва 2005.
- Гранин Д., *Мой лейтенант*, Москва 2013.
- Гранин Д., *Настоящая война не могла начаться, пока мы не возненавидели по-настоящему*, <https://regnum.ru/news/1510819.html>.
- Ефимова Н. А., *Изображение Второй мировой войны в трилогии Василия Аксенова „Московская сага”*, [в:] *Русское зарубежье и Вторая мировая война. IV Культурологические чтения „Русская эмиграция XX века”*, отв. ред. И. Ю. Белякова, Москва 2013.
- Иванюшкин А., Лях К., *Тема смерти в истории философии*, „Вестник МГТУ” 2011, т. 14, № 2.
- Красильников Р., *Образ смерти в литературном произведении: модели и уровни анализа*, Вологда 2007.
- Красильников Р., *Танатологические мотивы в художественном творчестве: эстетический аспект*, Москва-Вологда 2010.
- Липовецкий М. Н., *Военная проза 90-х годов: тупики поэтики или кризис идеологии*, [в:] его же, *Война и литература: 1941–1945*, Екатеринбург 2000.
- Мордовцева Т., *Идея смерти в культурфилософской ретроспективе*, Таганрог 2002.
- Налимов В., *Спонтанность сознания: Вероятностная теория смыслов и смысловая архитектура личности*, Москва 1989.
- Осатюк Е., *Когнитивные модели метафор „болезнь” и „смерть” как отражение авторского мировидения*, Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук, Ставрополь 2007.
- Полосухин Б., *Феномен вечно бытия*, Москва 1993.
- Розин В., *Размышления о смерти и бессмертии на рубеже третьего тысячелетия: (беседа первая)*, „Научно-теоретический журнал” Философские науки 2004, № 7, с. 132–151.

- Степанов М. С., *Семиотика смерти в дискурсе деятельности*, „Вестник Южно-Уральского государственного университета” 2010, № 1.
- Тарасенко В., *Концепты „жизнь” и „смерть” в системе языка и сознании разноязычных носителей: на материале фразеологизмов*, Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук, Комсомольск-на-Амуре 2008.
- Тарасенко В., *Фразеологические репрезентации концептов „жизнь” и „смерть” в системе языка и их восприятие русскоязычными носителями*, „Филология и человек”, вып. 2008, с. 115–123.
- Толстой Л. Н., *Война и мир*, [в:] его же, *Собрание сочинений в 20 томах*, т. VI, Москва 1962.
- Хализев В. Е., *Теория литературы*, Москва 2005.
- Харт Ниббриг К. Л., *Эстетика смерти*, пер. с нем. А. Белобратова, Санкт-Петербург 2005.
- Щелокова Л. И., *Истоки героического характера (на материале газетных публикаций 1941–1946 гг. Василия Гроссмана)*, [в:] *Grossman Studies. The Legacy of a Contemporary Classic*, ред. М. Calusio, А. Krasnikova, P. Tosco, Milan 2016.

Representation of the fear of death in modern Russian war literature

Summary

This article is focusing on one of the relevant problems of modern war prose, “people in the face of death” through the lens of anthropology and culture history. The concept of war itself is accompanied with a discussion of a number of existential issues, the fear of death in war is reviewed as the state in which a human recognizes the real possibility of his non-existence, something that absorbs and disintegrates the human. The fear of non-existence in this case is not a result of thoughts of natural life cycle, but of the recognition of inevitability of one’s demise as living through one’s own finality, eschatology. The constant presence of the Reaper in war changes the protagonists worldview, shows the fragility of human life, makes them live every moment differently and at the same time devalues life in and of itself. This is what makes the issue of human behaviour at Death’s door relevant. Each and every instance of encountering death creates different reactions, however, the fear of non-existence, its measurement or lack thereof is an indicative of individuality, readiness in the wake of eternity. The opposition of existence and non-existence is expanded through defining a specific and described category of non-existence, which is presented as a special kind of Death’s cultural ontology, the roots of which go into Russian modernism, albeit without characteristic romanticizing of it. Dominant in such mortality are the fear of “the void”, “finality of all being”, bearing in the context of modern prose a diverse spectrum of axiological connotations. The fear of non-existence is also viewed from the point of being afraid of being God-forsaken in case of a global historic disaster, which can only be combatted with recognition of infinite universe and infinity of one’s inner universe, of eternal life and of endless mercy of God.

Keywords: modern prose, war, concepts of life and death, fear, non-existence

Репрезентація страху смерті утворах сучасної російської літератури про війну

Резюме

У статті розглядається одна з актуальних проблем сучасної прози про війну: *особистість перед обличчям смерті* в культурно-історичному та антропологічному контексті. Концепт „війна”, пов'язаний з осмисленням цілого ряду екзистенціальних проблем, страх *смерті* на війні досліджується як стан, в якому людина усвідомлює можливість свого *не-буття*, як дещо поглинаюче і розвтілює в людині людину. Страх *не-буття* породжується не думкою людини про те, що все має тимчасовий характер, а його усвідомленням неминучості власної загибелі, це пережита людиною власна кінцівка, есхатологія. Відчуття постійної присутності смерті на війні змінює уявлення героїв про світ, показує крихкість людського життя, змушує по-особливому відчувати кожну його мить і одночасно знецінює життя як акт існування. Тому так гостро постає питання про поведінку людини перед обличчям смерті. Кожен факт зіткнення індивідуума зі смертю породжує різні реакції, але страх не-буття, його міра або його відсутність уявляє собою маркер індивідуальності, її готовності зустрічі з вічністю. Характер опозиції буття — не-буття поширюється за рахунок введеної і маркованої графічно категорії *не-буття*, що постає особливим типом культурної онтології смерті, витоки якого криються в російському модернізмі, однак без характерної для нього романтизації. Домінантами такого типу мортальності є страх *порожнечі, кінцівки всього суцього*, що володіють в контексті сучасної прози різноманітним спектром аксиологічних конотацій. Страх не-буття розглядається як страх богооставленості людини в ситуації глобальної історичної катастрофи, протистояння з яким можливо через усвідомлення нескінченності світу і людини, через віру у вічне життя, в безмежну милість Бога.

Ключові слова: сучасна проза, війна, концепти життя-смерть, страх, не-буття